# Фачино Кане

# Оноре де Бальзак

Я жил тогда на маленькой улице, вряд ли известной вам, — улице Ледигьер; она начинается от улицы Сент-Антуан, против фонтана, что неподалеку от площади Бастилии, и примыкает к улице Серизе. Любовь к науке загнала меня в мансарду, где я занимался по ночам, — дни я проводил в соседней Королевской библиотеке. Я соблюдал строгую воздержанность; добровольно подчиняясь уставу монашеской жизни, столь необходимой для труженика, я лишь изредка в погожие дни позволял себе недолгую прогулку по бульвару Бурдон. Одна-единственная страсть порою отвлекала меня от усидчивых занятий, но, впрочем, и она была вызвана жаждой познания. Я любил наблюдать жителей предместья, их нравы и характеры. Одетый так же плохо, как и рабочие, равнодушный к внешнему лоску, я не вызывал в них отчужденности; я мог, затесавшись в какую-нибудь кучку людей, следить за тем, как они нанимаются на работу, как они спорят между собой, когда трудовой день кончен. Моя наблюдательность приобрела остроту инстинкта: не пренебрегая телесным обликом, она разгадывала душу — вернее сказать, она так метко схватывала внешность человека, что тотчас проникала и в его внутренний мир; она позволяла мне жить жизнью того, на кого была обращена, ибо наделяла меня способностью отождествлять с ним себя самого, так же как дервиш из «Тысячи и одной ночи» принимал образ и подобие тех, над кем произносил заклинания.

Когда, бывало, в двенадцатом часу ночи мне встречался рабочий, возвращавшийся с женой из «Амбигюкомик», я с увлечением провожал их от бульвара Понт-о-Шу до бульвара Бомарше. Сначала эти простые люди говорили о пьесе, которую только что видели, а затем, постепенно, переходили к своим житейским делам; иногда мать тащила за руку ребенка, не слушая ни его жалоб, ни его просьб; супруги подсчитывали, сколько денег им следует получить на другой день, и заранее — то так, то этак — распределяли их на свои нужды. Все это сопровождалось подробностями домашнего быта, жалобами на непомерную дороговизну картофеля, на то, что зима нынче такая долгая, что торф все дорожает, резкими напоминаниями о том, что столько-то задолжали булочнику; в конце концов разгорался спор — и не на шутку; каждый из супругов проявлял свой характер в красочных выражениях. Слушая этих людей, я приобщался к их жизни; я ощущал их лохмотья на своей спине; я сам шагал в их рваных башмаках; их желания, их потребности — все передавалось моей душе, или, вернее, я проникал душою в их душу. То был сон наяву. Вместе с ними я негодовал против хозяев, которые их угнетали, против бессовестных заказчиков, которые не платили за работу и заставляли понапрасну обивать пороги. Отрешаться от своих привычек, в каком-то душевном опьянении преображаться в других людей, играть в эту игру по своей прихоти было моим единственным развлечением. Откуда у меня такой дар? Что это — ясновидение? Одно их тех свойств, злоупотребление которыми может привести к безумию? Я никогда не пытался определить источник этой способности; я обладаю ею и применяю ее — вот и все. Вам достаточно знать, что уже в ту пору я расчленил многоликую массу, именуемую народом, на составные части и исследовал ее так тщательно, что мог оценить все ее хорошие и дурные свойства. Я уже знал, какие богатые возможности таит в себе это предместье, этот рассадник революций, выращивающий героев, изобретателей-самоучек, мошенников, злодеев, людей добродетельных и людей порочных — и все они принижены бедностью, подавлены нуждой, одурманены пьянством, отравлены крепкими напитками. Вы не можете представить себе, сколько неведомых приключений, сколько забытых драм в этом городе скорби! Сколько страшных и прекрасных событий! Воображение не способно угнаться за той жизненной правдой, которая здесь сокрыта, доискаться ее никому не под силу; ведь нужно спуститься слишком низко, чтобы напасть на эти изумительные сцены, трагические или комические, на эти чудеснейшие творения случая. Право, не знаю, почему я так долго таил про себя историю, которую сейчас изложу вам, — она входит в число диковинных рассказов, хранящихся в том мешке, откуда причуды памяти извлекают их, словно лотерейные номера; у меня еще много таких рассказов, столь же необычайных, как этот, столь же тщательно запрятанных; но, верьте мне, их черед тоже настанет.

Однажды женщина, приходившая ко мне для домашних, услуг, жена рабочего, попросила меня почтить своим присутствием свадьбу ее сестры. Чтобы вы поняли, какова могла быть эта свадьба, нужно вам сказать, что я платил два франка в месяц этой бедняжке, которая приходила каждое утро оправлять мою постель, чистить платье и башмаки, убирать комнату и готовить завтрак; остальную часть дня она вертела рукоять какой-то машины и за эту тяжелую работу получала полфранка в день. Ее муж, столяр-краснодеревщик, зарабатывал в день четыре франка. Но они едва перебивались своим честным трудом, так как у них было трое детей. Я никогда не встречал людей более порядочных, чем эти супруги. Когда я переехал в другую часть города, тетушка Вайян в продолжение пяти лет приходила поздравлять меня с именинами и всякий раз дарила мне букет цветов и апельсины, — а ведь у нее никогда не водилось лишних десяти су! Нужда сблизила нас. Я мог отдарить ее только десятью франками, которые мне иной раз приходилось занимать ради этого случая. Отсюда понятно, почему я обещал прийти на свадьбу, — мне хотелось приобщиться к радости этих бедных людей.

Празднество, ужин — все происходило у трактирщика на улице Шарантон, в просторной комнате второго этажа, освещенной лампами с жестяными рефлекторами, понизу оклеенной до половины человеческого роста засаленными обоями; вдоль стен были расставлены деревянные скамьи. В этой комнате человек восемьдесят, принаряженные по-воскресному, украшенные букетами и лентами, с раскрасневшимися лицами, плясали, одержимые духом народных гуляний, — плясали так, словно наступало светопреставление. Новобрачные, ко всеобщему удовольствию, то и дело целовались под возгласы: «Так, так! Славно, славно!» — возгласы игривые, но, бесспорно, менее непристойные, чем бывает брошенный украдкой взгляд иной благовоспитанной девицы. Весь этот люд выражал грубую радость, обладавшую свойством передаваться другим.

Но ни расположение духа собравшихся, ни само празднество — ничто из всего этого не имеет прямого отношения к моему рассказу. Запомните только причудливую рамку: представьте себе как можно отчетливее плохонькое, выкрашенное в красный цвет помещение, ощутите запах вина, прислушайтесь к этим радостным крикам, сроднитесь с этим предместьем, с этими рабочими, стариками, жалкими женщинами, которые на одну ночь всецело отдались веселью!

Оркестр составляли три слепца из «Приюта трехсот». Первый был скрипач, второй — кларнетист, третий играл на флажолете. За ночь им платили семь франков. За эту ночь они, разумеется, не исполняли ни Россини, ни Бетховена. Они играли что хотели и как умели, и никто не попрекал их — трогательная чуткость! Их музыка так резала слух, что я, окинув взглядом собравшихся, внимательнее присмотрелся к музыкантам и, узнав их форменную одежду, сразу стал снисходителен.

Все трое сидели в оконной нише, и, чтобы различить их лица, нужно было подойти вплотную; я сделал это не сразу, но, как только я приблизился, все изменилось: свадебный пир и музыка исчезли. Я ощутил сильнейшее любопытство, ибо моя душа вселилась в тело кларнетиста. У скрипача и у флажолетиста были самые обыкновенные лица — хорошо знакомые всем лица слепых, настороженные, сосредоточенные, серьезные; но лицо кларнетиста принадлежало к числу тех, которые сразу привлекают внимание художника и философа.

Представьте себе под копной серебристо-белых волос гипсовую маску Данте, озаренную красноватым отблеском масляной лампы. Горькое, скорбное выражение этой могучей головы еще усугублялось слепотой, ибо мертвые глаза оживляла мысль; они как бы струили огненный свет, порожденный желанием — единым, всепоглощающим, резко запечатленным на выпуклом лбу, который бороздили морщины, подобные расселинам древней стены. Старик дул в кларнет наудачу, нимало не считаясь ни с мелодией, ни с ритмом; его пальцы безотчетно скользили вверх и вниз, привычным движением нажимая ветхие клапаны; он, ничуть не стесняясь, то и дело «давал гуся», как говорят музыканты в оркестрах; танцующие так же не замечали этого, как и оба товарища моего итальянца (мне хотелось, чтобы старик был итальянцем, и он был им!). Что-то величественное и деспотически-властное чувствовалось в этом престарелом Гомере, таившем в себе некую «Одиссею», обреченную на забвение. Величие его было столь ощутимо, что заставляло забывать его унижение, властность — столь живуча, что торжествовала над его нищетой. Все бурные страсти, которые приводят человека к злу или к добру, делают из него каторжника или героя, выражались на этом лице, столь благородном по очертаниям, смугловато-бледном, как обычно у итальянцев, — лице, затененном седеющими бровями, которые нависали над глубоко запавшими глазницами, где так же страшно было встретить огонь мысли, как страшно, заглянув в пещеру, обнаружить там разбойников с факелами и кинжалами. В этой клетке из человеческой плоти томился лев, бесполезно растративший свою ярость в борьбе с железной решеткой. Пламя отчаяния угасло под пеплом, лава окаменела; но борозды — застывшие потоки, еще слегка дымящиеся — свидетельствовали о силе извержения и вызванных им бедствиях. Все эти образы, пробужденные во мне наблюдением, были столь же ярки в моей душе, сколь смутно они сквозили в его чертах.

В перерывах между танцами скрипач и флажолетист, весьма заинтересованные угощением, вешали инструменты на пуговицы своих порыжелых сюртуков, протягивали руку к столику с напитками, стоявшему тут же, в нише, и подносили итальянцу полный стакан, который он сам не мог взять, — столик был позади его стула. Каждый раз кларнетист благодарил дружеским кивком. Их движения отличались той точностью, которая всегда поражает в слепых из «Приюта трехсот» и внушает обманчивую мысль, что эти люди — зрячие. Я направился к ним, чтобы подслушать их разговор, но, когда я подошел вплотную, они насторожились, вероятно, угадав, что я не рабочий, и умолкли.

— Откуда вы родом, кларнетист?

— Из Венеции, — ответил слепой с легким итальянским акцентом.

— Вы слепы от рождения или ослепли по...

— По несчастной случайности, — живо продолжил он, — треклятая темная вода...

— Венеция — прекрасный город, я всегда мечтал побывать там...

Лицо старика одушевилось, по морщинам пробежал трепет, он заволновался.

— Если я поеду с вами, вы не потеряете времени понапрасну, — молвил он.

— Не говорите ему о Венеции, — вмешался скрипач, — иначе наш дож опять начнет чудить; а он, заметьте, уже вылакал две бутылки, этот князь.

— Ну, живее! Пора начинать, папаша Фальшино! — воскликнул флажолетист.

Все трое взялись за свои инструменты; пока они играли четыре части контрданса, венецианец старался разгадать меня; он почувствовал, что внушает мне живейший интерес. Его лицо утратило выражение застывшей печали, какая-то надежда прояснила его черты, разлилась легким пламенем по его морщинам; он улыбнулся, отер дерзновенный и грозный лоб — словом, он развеселился, как человек, почуявший возможность оседлать своего конька.

— Сколько вам лет? — спросил я.

— Восемьдесят два года.

— Давно вы ослепли?

— Вот уже скоро пятьдесят лет, — ответил старик; по его голосу чувствовалось, что он скорбит не только о потере зрения, но и о каком-то ином великом даре, которого лишился.

— Почему вас называют дожем? — спросил я.

— О, глупая шутка! — ответил он. — Я венецианский патриций и, как любой из них, мог стать дожем.

— Какое же ваше настоящее имя?

— Здесь меня зовут папаша Канé. Мое имя никак не могли иначе занести в акты гражданского состояния; а по-итальянски я называюсь Марко Фачино Кáне[[1]](#footnote-1), князь Варезский.

— Как! Вы потомок знаменитого кондотьера Фачино Кане, обширные владения которого перешли к герцогам миланским?

— E vero[[2]](#footnote-2), — подтвердил слепой. — В те времена сын кондотьера, опасаясь, что Висконти лишат его жизни, бежал в Венецию и был там вписан в Золотую книгу. Но теперь уже нет ни славного рода Кане, ни родословной книги.

Тут слепой сделал движение, ужаснувшее меня, — так резко оно выражало угасший патриотизм и отвращение к людским делам.

— Но если вы были венецианским сенатором, у вас, наверно, было состояние? Как же случилось, что вы его потеряли?

На этот вопрос он повернул ко мне голову поистине трагическим движением, словно намереваясь пристально взглянуть на меня, и ответил:

— В несчастьях!

Ему уже было не до вина; он отвел полный стакан, который ему подал старый флажолетист, затем он поник головой. Все эти мелочи были не такого свойства, чтобы успокоить мое любопытство. Пока эти три автомата исполняли контрданс, я с теми чувствами, что обуревают двадцатилетнего юношу, неотрывно смотрел на престарелого венецианского аристократа. Я видел Адриатику, Венецию — видел в этих дряхлых чертах ее развалины. Я разгуливал по этому городу, столь милому своим обитателям, я шел от Риальто к Большому каналу, от Словенской набережной к Лидо; я возвращался к собору, столь своеобразно величественному; я любовался окнами Casa d'Oro[[3]](#footnote-3), каждое из которых изукрашено мрамором, — словом, всеми чудесными творениями, которые ученому особенно дороги тем, что он волен расцвечивать их, как ему вздумается, и что его грезы не опошляются зрелищем обыденной действительности. Я мысленно прослеживал жизненный путь этого потомка величайшего из кондотьеров, силясь распознать следы его несчастий и причины того глубокого физического и морального падения, которые придавали еще большую яркость искоркам величия и благородства, вспыхнувшим в нем теперь. Вероятно, наши мысли совпали: ведь слепота, думается мне, не давая вниманию растрачиваться на предметы внешнего мира, тем самым значительно ускоряет духовное общение.

Я немедля получил доказательство взаимности нашей симпатии. Фачино Кане перестал играть, встал, подошел ко мне и так вымолвил: «Пойдемте!» — что голос его подействовал на меня подобно электрическому току. Я подал ему руку, и мы вышли.

Когда мы очутились на улице, он сказал:

— Вы согласны отвезти меня в Венецию, сопровождать меня туда? Согласны поверить мне? Вы будете богаче десяти самых богатых семейств Амстердама или Лондона, богаче Ротшильда — словом, вы будете одним из тех богачей, о которых говорится в «Тысяче и одной ночи».

Я подумал было, что он безумен, но он говорил так властно, что я невольно подпал под его влияние. Я покорно последовал за ним, и он с уверенностью зрячего повел меня ко рвам Бастилии. Он уселся на камень в пустынном уголке, где впоследствии был построен мост, соединяющий набережные Сен-Мартенского канала и Сены. Я сел на другой камень, против старика, седые волосы которого при лунном свете сверкали, словно серебряные нити. Тишина, едва нарушаемая гулом бульваров, смутно доносившимся до нас, ясность ночи — все придавало этой сцене подлинно фантастический характер.

— Вы говорите молодому человеку о миллионах и сомневаетесь в том, согласится ли он претерпеть тысячу мытарств, чтобы получить их! Уж не смеетесь ли вы надо мной!

— Умереть мне без покаяния, если то, что я вам расскажу, неправда, — горячо сказал он. — Мне было двадцать лет, как вам теперь, я был богат, я был знатен, я был красив; я начал с величайшего из безумств — с любви. Я любил, как уже не любят ныне, я доходил до того, что, с опасностью быть обнаруженным и убитым, прятался в сундук, одушевляясь одной лишь надеждой — получить обещанный поцелуй. Умереть ради нее казалось мне заманчивее долгой жизни. В 1760 году я увлекся восемнадцатилетней красавицей из рода Вендрамини, супругой Сагредо — одного из самых богатых сенаторов, человека лет тридцати, который без памяти любил свою жену. И я, и моя возлюбленная были невинны, как херувимы. Sposo[[4]](#footnote-4) застал нас за беседою о любви; я был безоружен, он оскорбил меня; я бросился на него, я задушил его голыми руками, свернул ему шею, как цыпленку. Я хотел уехать с Бьянкой, она не пожелала последовать за мной. Таковы женщины! Я бежал один, был осужден заочно, мое имущество подверглось секвестру в пользу моих наследников; но я увез свои бриллианты, пять полотен Тициана, свернутых трубкой, и все свое золото. Я отправился в Милан, где меня не тревожили: власти моим делом не интересовались.

Прежде чем продолжать рассказ, — сказал он после недолгой паузы, — я замечу следующее: влияют ли, нет ли причуды женщины во время беременности или зачатия на ее ребенка, но, во всяком случае, известно, что моя мать, когда носила меня под сердцем, была одержима страстью к золоту. Я питаю к золоту влечение, род мании, и оно так сильно во мне, что в каком бы я ни был положении, я всегда имею при себе золото; я постоянно перебираю золото, в молодости я всегда носил драгоценности и держал при себе двести — триста дукатов.

С этими словами он вынул из кармана два дуката и показал мне их.

— Я словно по запаху узнаю золото. Хоть я и слеп, но останавливаюсь у лавок ювелиров. Эта страсть погубила меня; я стал картежником, чтобы играть на золото. Я не плутовал в игре, меня же плутовски обыгрывали, и я разорился. Когда я остался без средств, меня обуяло бешеное желание вновь увидеть Бьянку; я тайно вернулся в Венецию и явился к ней; в течение шести месяцев я был счастлив; я скрывался у нее, она кормила меня. Я мечтал, что это блаженство продлится до конца моих дней. Любви Бьянки домогался проведитор[[5]](#footnote-5). Он понял, что у него есть соперник, — в Италии соперников чуют; он выследил нас, накрыл в постели, подлец! Судите сами, какая произошла жестокая схватка; я не убил его, а только тяжело ранил. Это злоключение разбило мое счастье. Никогда в жизни я уже не встречал существа, подобного Бьянке: я изведал величайшие наслаждения, я жил при дворе Людовика Пятнадцатого, среди наизнаменитейших женщин — ни в одной из них я не нашел достоинств, прелести, страстности милой моей венецианки. Стражи проведитора были поблизости; он кликнул их, они окружили дворец, ворвались в покои; я защищался, чтобы умереть на глазах у Бьянки, она помогала мне, пытаясь убить проведитора. В свое время эта женщина не пожелала сопровождать меня в изгнание, а теперь, после шести месяцев счастья, она хотела умереть одной смертью со мной и получила несколько ран.

Во время борьбы на меня набросили большой плащ, обернули меня им, отнесли в гондолу и ввергли в один из «колодцев». Мне было двадцать два года, я так крепко сжимал обломок шпаги, что завладеть им могли бы, лишь отрубив мне руку. По странной случайности или, вернее, движимый смутной мыслью о бегстве, я спрятал этот кусок стали в углу темницы, словно он мог мне пригодиться. Меня лечили. Ни одна из моих ран не была смертельной. В двадцать два года исцеляешься от чего угодно. Меня должны были обезглавить — я притворился больным, чтобы выиграть время. Я полагал, что моя темница находится поблизости от канала; у меня возникла мысль бежать, продолбив стену, и попытаться переплыть канал, хотя бы с опасностью утонуть.

Мои надежды основывались на следующих соображениях: всякий раз, когда тюремщик приносил мне еду, мне бросались в глаза надписи на стенах с указаниями: сторона дворца, сторона канала, сторона подземелья. В конце концов я отчетливо представил себе этот план, назначение которого меня мало интересовало, но который соответствовал тогдашнему состоянию постройки Дворца дожей, еще не завершенной. Благодаря обострению мысли, порожденному желанием обрести свободу, я, ощупывая кончиками пальцев поверхность одного из камней, постепенно разобрал арабскую надпись, в которой некто, проделавший огромную работу, извещал своих преемников, что он вынул два камня из последнего ряда кладки и проложил подземный ход длиной в одиннадцать футов. Чтобы продолжить его дело, пришлось бы усеять земляной пол «колодца» цементом и осколками камня, которые выбрасывались бы при рытье. Но даже если бы массивность здания, требовавшего только наружной охраны, и не внушала инквизиторам и страже уверенности в том, что побег невозможен, то само расположение «колодцев», куда спускаются по нескольким ступеням, позволяло понемногу повышать уровень почвы незаметно для тюремщиков.

Чудовищная работа — рытье подземного хода — оказалась тщетной, по крайней мере для того, кто ее начал. Ведь то, что она осталась незаконченной, свидетельствовало о смерти неизвестного узника. Чтобы его усердие не пропало даром, должен был найтись заключенный, знающий арабский язык, а я изучил восточные языки в армянском монастыре. Несколько слов, высеченных на другой стороне камня, осведомляли о судьбе этого несчастного, ставшего жертвой своих огромных богатств: они возбудили алчность Венеции, и она завладела ими. Мне потребовался месяц, чтобы достигнуть цели. Во время работы и в те краткие промежутки времени, когда меня подкашивала усталость, я слышал звон золота, я видел перед собой золото, меня слепили бриллианты... О, слушайте дальше! Однажды ночью затупившаяся сталь наткнулась на бревно. Я вновь отточил свой обломок шпаги и начал сверлить отверстие а дереве. Чтобы иметь возможность работать, я, лежа на животе, извивался наподобие змеи, я раздевался донага и рыл, словно крот, вытягивая руки и пользуясь самой кладкой как точкой опоры. За двое суток до того, как я должен был предстать перед судом, поздней ночью, я решил сделать последнее усилие; я просверлил бревно насквозь — и сталь вонзилась в пустоту.

Вообразите мое изумление, когда я приник глазом к отверстию. Я притаился за деревянной обшивкой подземелья, где мерцал слабый свет, позволявший мне различить груды золота. В подземелье находились дож и один из членов Совета Десяти[[6]](#footnote-6); я слышал их голоса; из их разговора я узнал, что передо мной потайные сокровища Республики, дары дожей и неприкосновенный запас, именуемый «Десятиной Венеции», куда вносилась часть добычи от военных экспедиций. Я был спасен! Когда пришел тюремщик, я предложил ему помочь мне бежать и скрыться со мной вместе, захватив все, что нам удастся взять. Колебания были немыслимы, он тотчас согласился. Нашлось судно, готовое к отплытию в Левант. Были приняты все меры предосторожности. Бьянка участвовала в приготовлениях, которые я поручил моему сообщнику. Чтобы не возбудить подозрений, решено было, что она присоединится к нам в Смирне. За одну ночь отверстие было расширено, и мы спустились в потайную сокровищницу Венеции. Какая ночь! Я видел своими глазами четыре бочонка, доверху наполненные золотом. В первом помещении хранилось серебро, наваленное двумя грудами, между которыми был оставлен узкий проход, а вдоль стен откосом вышиной в пять фунтов громоздились монеты. Мне казалось, что мой тюремщик сойдет с ума; он пел, скакал, хохотал, он плясал по золоту. Я пригрозил, что задушу его, если он будет шуметь или терять время попусту. От радости он не сразу заметил стол, на котором лежали бриллианты. Ловко заслонив их от него, я набил ими свою матросскую куртку и карманы штанов. Великий боже! Это не составило и третьей доли сокровища! Под столом лежали слитки золота. Я убедил своего спутника наполнить золотом столько мешков, сколько мы в силах унести, так как золото, — объяснил я ему, — это единственное богатство, которое за границей не навлечет на нас подозрений.

— Жемчуг, драгоценные украшения, бриллианты выдадут нас с головой, — сказал я.

При всей нашей алчности мы не могли захватить больше двух тысяч фунтов золота. Да и то нам пришлось шесть раз проделывать путь из тюрьмы к гондоле. Часового у дверцы, выходившей на канал, мы подкупили, дав ему мешок с десятью фунтами золота. Что до гондольеров — их было двое, — они воображали, будто исполняют предписания Республики. Мы отчалили на рассвете. Когда мы очутились в открытом море и я припомнил все, что произошло ночью, когда я воскресил в своей памяти все пережитое мною, когда я мысленно вновь увидел эту изумительную сокровищницу, где, по моим подсчетам, я оставил тридцать миллионов серебром, двадцать миллионов золотом и на несколько миллионов бриллиантов, жемчуга и рубинов, я словно обезумел. Меня обуяла золотая лихорадка. Мы высадились в Смирне, а оттуда немедленно отплыли во Францию. Когда мы взбирались на борт французского судна, господь бог, казалось, явил мне милость: он избавил меня от моего сообщника. В ту минуту я не мог предусмотреть последствий этого несчастного случая и очень обрадовался. Оба мы тогда чувствовали себя настолько измученными, что пребывали в каком-то оцепенении; ни слова не говоря друг другу, мы дожидались, пока достигнем надежного убежища и заживем в свое удовольствие. Не удивительно, что у этого проходимца закружилась голова! Что до меня, вы услышите, как меня покарал господь.

Я счел себя в безопасности только после того, как продал в Лондоне и Амстердаме две трети моих бриллиантов, а золотой песок обратил в ценные бумаги. В продолжение пяти лет я скрывался в Мадриде, а затем, в 1770 году, под вымышленным испанским именем переселился в Париж, где жил на самую широкую ногу. Бьянка к тому времени умерла. И среди всех наслаждений жизни меня, обладателя шести миллионов, поразила слепота! Я не сомневаюсь, что это несчастье явилось следствием пребывания в темнице и работы над каменной кладкой, если только сама моя способность мгновенно различать золото не была связана с таким напряжением глаз, которое неминуемо должно было повлечь за собой утрату зрения. В ту пору я любил женщину, с которой намеревался соединить свою судьбу; я открыл ей тайну своего имени; она принадлежала к могущественной семье, я ждал всего от благоволения, которое мне выказывал Людовик Пятнадцатый; я всецело доверился этой женщине, подруге госпожи Дюбарри; моя возлюбленная посоветовала мне обратиться к знаменитому глазному врачу в Лондоне, но после того, как мы прожили там несколько месяцев, она бросила меня в Гайд-парке, разорив дотла и оставив в беспомощном состоянии: ведь я был вынужден скрывать свое настоящее имя, которое предало бы меня мщению Венеции, и я никого не мог просить о заступничестве, ибо страшился Венеции. Моей немощью воспользовались сыщики, подосланные ко мне этой женщиной. Я избавлю вас от рассказа о приключениях, достойных Жиль Бласа. Произошла ваша революция. Я попал в «Приют трехсот». Меня поместила туда эта презренная тварь после того, как по ее проискам меня два года продержали в Бисетре, объявив умалишенным. Сам я не мог ее убить; я ничего не видел, а для того, чтобы прибегнуть к наемному убийце, я был слишком беден. Если бы, прежде чем погиб Бенедетто Карпи, мой тюремщик, я расспросил его о местоположении темницы, я мог бы вновь разыскать сокровищницу, вернувшись в Венецию, когда Наполеон упразднил там Республику[[7]](#footnote-7)... И все же, несмотря на мою слепоту, едемте в Венецию! Я найду ту дверцу, я увижу золото сквозь стену, я почую его под водой, где оно хранится; ведь события, сокрушившие мощь Венеции, таковы, что тайна сокровищницы должна была умереть вместе с Вендрамини, братом Бьянки, дожем, на которого я надеялся, думая о примирении с Советом Десяти. Я посылал докладные записки первому консулу, я предлагал договор австрийскому императору, но всюду и везде мне отвечали отказом, считая меня безумным. Едемте в Венецию — едемте нищими, ведь мы вернемся миллионерами; мы выкупим мои поместья, и вы будете моим наследником, будете князем Варезским.

Ошеломленный этой исповедью, превратившейся в моем воображении в целую поэму, находясь к тому же над черными водами рвов Бастилии, дремотными, как воды венецианских каналов, я глядел на эту убеленную сединой голову и не отвечал. Фачино Кане, вероятно, подумал, что я сужу о нем так же, как все остальные, — с презрительной жалостью; он сделал жест, проникнутый философией отчаяния.

Быть может, этот рассказ вернул его к счастливым дням жизни в Венеции. Он схватил свой кларнет и заиграл печальную венецианскую песенку — баркаролу, для которой вновь обрел талант своей молодости, талант влюбленного патриция. Мне пришло на память «На реках вавилонских», мои глаза наполнились слезами. Если в это время по бульвару Бурдон шли запоздалые прохожие, они, должно быть, остановились, чтобы послушать последнюю молитву изгнанника, последнее сожаление об утраченном имени, с которым переплеталось воспоминание о Бьянке. Но вскоре золото снова взяло верх, и роковая страсть угасила отсвет давней юности.

— Эти сокровища, — молвил он, — непрестанно мерещатся мне во сне и наяву; я хожу среди них, бриллианты сверкают; я не так слеп, как вы думаете. Золото и бриллианты освещают мою ночь — ночь последнего Фачино Кане, ибо мой титул должен перейти к роду Мемми. О боже! Возмездие за убийство наступило так рано. Ave Maria!..

Он вполголоса прочитал несколько молитв, которые я не расслышал.

— Мы поедем в Венецию! — воскликнул я, когда он встал.

— Наконец-то я встретил настоящего человека! — вскричал он, весь вспыхнув.

Я взял его под руку и довел до приюта; когда он прощался со мной у подъезда, мимо нас прошли несколько человек; распевая во все горло, они возвращались со свадьбы на улице Шарантон.

— Мы едем завтра? — спросил старик.

— Нет, ведь надо достать хоть немного денег.

— Мы можем идти пешком! Я буду просить милостыню, я вынослив; а когда впереди виднеется золото, чувствуешь себя молодым.

Фачино Кане умер зимой, проболев два месяца. У бедняги была чахотка.

*Париж, март 1832 г.*

1. *Фачино Кане* (ок. 1360—1412) — историческое лицо, знаменитый итальянский кондотьер, предводитель наемных войск. Был на службе у миланского герцога Висконти, после смерти которого воевал с его сыновьями. [↑](#footnote-ref-1)
2. Это правда (*ит.*). [↑](#footnote-ref-2)
3. Золотого дворца (*ит.*). [↑](#footnote-ref-3)
4. Супруг (*ит.*). [↑](#footnote-ref-4)
5. *Проведитор* — должностное лицо в Венецианской республике. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Совет Десяти* — тайный политический орган Венецианской республики, учрежденный в XIV в. с целью контроля над государственной властью. [↑](#footnote-ref-6)
7. *...когда Наполеон упразднил там Республику...* — В 1797 году Венецианская республика была оккупирована войсками Наполеона, затем, согласно условиям мирного договора между Францией и Австрией (Кампоформийский мирный договор 1797 г.), почти вся территория Венеции была передана Австрии. [↑](#footnote-ref-7)